

НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ



ЗА КУДЫКИНЫ ГОРЫ

ПОВЕСТЬ

1

Пришло извещение на посылку.

— От пра... от пра... прабабушки, — взвивался к потолку мой сын.

А я не обрадовался. Что-то неуклюже повернулось внутри да так и не улеглось, а точило, подсасывало. Мне совсем не хотелось идти на почту за ящичком из родной Верхней Мазы.

Послание ещё раз напомнило о моей если не чёрствости, то душевной лени. Сын тянул меня на улицу, получать, а я всё корил себя за то, что в течение года не смог выбрать несколько минут, чтобы черкнуть письмо бабушке Евдокии Ивановне, и тут же слабовольно оправдывал себя: не пишу — зачем старушке душу травить?! Представил, как принесут бабушке письмецо, как припустит она по соседям: “Прочтите, шабры дорогие, грамотку, от внука весточку”. Те размеренно, как чай вприкуску пьют — читают, а бабушка растягивает кулаками морщинистые щёки, всхлипывает от радости и одиночества. Дома она пристроит конвертик на божнице, как пить дать, воткнёт в уголок, словно новый образ.

Сын всё назойливо канючит:

— Пап, а может, там гоночная машина?.. Может, пистолет ковбойский?

Наконец и длинная очередь выстояна, и ящик водружён на кухонный стол, и клещи разысканы.

ИВЕНШЕВ Николай Алексеевич родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский пединститут им. А. С. Серафимовича. Автор книг “Душа душицы”, “Портрет незнакомки”, “Казачий декамерон” и других. Член Союза писателей России. Живёт в станице Полтавской Краснодарского края.

— Ох, бабушка, бабушка, — страдаю я, — верно, половина месячной пенсии ушла на безалаберного внука, — сам заразившись сыновним нетерпением, ловко поддеваю крышку лёгкой посылочки.

Тесную кухню враз наполнило степным воздухом. Посылка — не посылка, а тугая подушка из сухой травы, несколько стебельков кузнечиками скакнули из ящика. Мой корыстолюбивый парнишка уставился на изумлённого отца. Это я заметил краем глаза... Сам выбирал пучки трав, жмурил глаза и вдыхал, вдыхал...

Было это прошлым летом. Натужно взревев, мотоцикл подскочил на неожиданном бугре и заглох возле родника Винного. Выхлопной дым рваной кисеи, гусиными перьями висел, растворялся в знойном воздухе. Родник зарос вялыми лопухами, лебедой, колючим ржавым вереском. От гибели источник спасался в сорняках. Ледяное коленце пульсировало на дне большой лунки. Я черпнул пригоршню родниковой пузырчатой гущи и поперхнулся: забытая живая вода...

Два запаха с невероятной скоростью, будто выключателем щелкнешь, возвращают меня в детство, в своё далекое средневожжское село. Дух сосновых мокрых досок напоминает счастливое сидение на подоконнике в ветхой, крытой соломой избенке. Хлещет по разбитой дороге проливной дождь, коробит стекло причудливыми пёнными узорами, и душно, пока еще душно, пахнет парным ливнем. Скоро будет легко, и случится радость — качнет стрекозиными крыльями радуга над Винным.

Другой запах — аромат душицы. Теперь он ворошит былое. Сухую щепоть целебной травки восало в пену кипящего чайника.

Сын обиделся, убежал на улицу. А я из граненого стакана прихлебываю зеленоватое питье. Радостно. Грустно. Вроде встретился с желанным другом, старым закадычным приятелем, взволнованно притих, понимая, что сокровенный человек скоро исчезнет, что уже куплены предварительные безвозвратные билеты. Потом только от чая легко становится на душе, как после порывистого ливня, покойно, благостно. Врачи говорят: фармакологическое действие травы. Только лекарство ли это? Да разве похоже аптечное снабдье в брикетах на ломкие стебельки с чудесным свойством ярко включать детство?!

Вспоминаю островок дымно-сиреневой травы, название которой произошло от чувствительного “дух”: душечка, душица, душистая душа родины. А вот другие ласковые имена: лебидка, материнка, душинка, ладанка.

Рядом с лиловым островком журчит родник Винный, пузырчатый-чистый, как легкий виноградный напиток. Говорят, что не один странный человек опился родниковой воды. Хлебнешь пригоршню — еще хочется, приложишься опять — жажда не уходит. Верхнемазинцы-то знают колдовскую власть родникового питья, а те, кто пришел-приехал? Их страшат:

— Один ненашенский совсем очоурился — опился!

Три свежие жилки трепещут среди белых гольшей. А главная жила, как инверсия от самолета, скатывается по дощатому желобку и вянет в густых зарослях.

Ни с чем не сравним первый глоток разбухшего от ледяной влаги хлеба. Маленькие лакомки, мы менялись яствами, шумно высасывали родниковую воду, как мед из сотов. Налопавшись до отвала, падали на спины, подставляя голые животы полуденному зною. Душистый ветер щекотал, гладил, жарко омывал тела. Мы не замечали своего счастья, безумного блаженства, жили, как существует тугой родник, шелковые расчески ковья и золоченые горячие осы. Мы были им равня.

У деревенских баб ходьба за водой к Винному — тоже целое событие. Для пойки скота, мытья полов, стирки хозяйки черпали воду из колодцев. Никакой источник не заменял заветного родника.

— Куды, Анюрка?

— На Кудыкину гору кудаков пасти, за родниковой — айда с нами?

— Счас, пироги выну — нагоню.

За родниковой водицей ходили с утра: по двое, по трое, только и только женщины с коромыслами. По дороге уж они переполощут чужие косточки, выяснят, чей мужик вчера нахлестался в дым, “прям с круга сошел”,

а чей жену отлупасил. Костерят злодея на чем свет стоит. Одевались к роднику в чистое. У говорливого ключа немели, развязывали узелки с горбушками. Хлеб расплзался под тяжелой струей. Женщины смачно жевали его, повинуюсь улыбочивой памяти своего детства. Потом они возвращались домой. Было не до разговоров. В цилиндрических ведрах веско покачивалась родниковая вода, покрытая от солнца, пыли и прытких кузнечиков репейным листком.

2

Здесь умер от апоплексического удара опальный поэт-партизан Денис Давыдов. А паралич этот произошел от радости. Давыдову высочайшим повелением было позволено сопровождать прах любимого командира Петра Ивановича Багратиона на новое место захоронения — Бородинское поле. Односельчане сказывают: спросил Денис Васильевич рюмку вина, легко вошел в сад, там в одночасье и скончался один из славных сынов нашего Отечества.

Сейчас бюст легендарного Дениса возвышается неподалеку от продовольственного магазина. Потемневший памятник почти не виден в кустах акации, под сенью которой верхнемазинские мужики распивают свои портвейны и прячутся от пристальной опеки жен. Мнится мне, что крупные, навывкате, глаза поэта лукаво лучатся, а заливчатские усы поощрительно вздернуты. Может, это всего лишь капризы вечернего низкого солнца?

Когда-то бюст был сотворен столичным скульптором на деньги совхозных комсомольцев. Расторопность московских ваятелей пошла вразрез с тугодумством местных властей. Те судили да рядили, искали место, куда поставить памятник. А пока чугунного, с бронзовым отливом, как живого, Дениса Давыдова приютили в полутемном зашторенном зрительном зале клуба. На него в потемках я и наткнулся. Жутко перетрухнул: человек — не человек. Ни одной скульптуры я, безвывозный деревенский мальчишка, раньше не встречал. Пулей вылетел из зала. У взрослых выведал, что человекообразное чудище зовется Денисдавыдов.

А вскоре и бабушка поведала о помещиках Давыдовых. Её отец служил садовником в барской усадьбе. Мне, прилежному пионеру, свято верившему в незаблемый авторитет учебника истории, бабушкины рассказы о порядочности помещиков Давыдовых казались чистойшей ложью, беспросветной клеветой.

— Добрые господа были, — умильно ворковала бабушка Евдокия Ивановна. — Сад по всей деревне разбили, высоко больницу для хрестьян сложили, докторов-фершелов из города выписали. Барыня меня и грамоте учила, буквы понимать, ласковая — ни разу дурного слова не слышала от госпожи... Чего ты лыбишься?.. Ах, какие яблочки висели в господском саду: антоновка, анис, овечий нос, царский шип. В чулане где-нибудь на полочку приткнешь — в избе дух захватывает. Антоновку в сундуки клали, чтобы потом выходная одежда яблоками пахла.

В первые послереволюционные годы диковинный сад вырубил, во всеобщем разрушительном угаре разобрали деревянную церковь Покрова, звончайшие колокола шмякнули о землю, утопив осколки "религиозного дурмана" в полноводной тогда реке Мазке.

Река Мазка и поныне сочится по сердцевине села, мутным зазубренным лезвием она расластала Мазу на два крыла. Как какое-нибудь казачье поселение, одна лопасть называется Первой сотней, другая — Второй сотней. С лёгкой руки ироничного Дениса Давыдова, стершего в походах не одни шпоры, моё родное село разнимается на несколько, как теперь говорят, микрорайонов, по-нашему — курмышей. Это — Карпаты, Шанхай, Корея, Разнота. Ну, Разнота — понятно, приезжие люди, странные, возможно, в карты выигранные, быть может, сами прибились. А вот наши Карпаты располагались на пригорке, на видном месте Верхней Мазы.

В селе много связывают с именем Дениса Давыдова. Даже само название "Верхняя Маза" якобы Денисом Васильевичем дадено. Лишь свежий человек появится в нашей деревне, тотчас ему:

— Едет енерал через Отмалы, через лесок. Только на опушку выезжает, тучи набежали. Заволокло сверху. Только к мельнице близится, дождик как влупит! Колясочка енералова в грязи и увязла. Барин лается, кучеру указание дает, ни в какую бричка ни с места.

Сымает енерал телячьи белые голицы, в калужину их — кидь, как ненужный алимент, тележку свою плечиком поддевает. Вывалялся, вымок до нитки, зеваёт опять своим жидким голосочком:

— Маза чертова, измазался весь!

Прозвали село Мазой.

Прошло полтора года лет, как нет в живых Дениса Давыдова, а гипнотическое влияние этого человека чувствуется и по сию пору. И по сей день верхнемазинцы — народ особый. Районную газету “Восход”, областную “Ульяновскую правду” земляки засыпают своими стихами и прозой.

Наверное, и бабушка моя поэтесса. Ставит на стол угощение, приговаривает в рифму: “Картошечка без костей, подается для гостей”. Или ещё лаконичнее поговорка: “Без денег — бездельник”. Слушаю её неторопливый рассказ об оборотне. Печной кирпич даже сквозь растененную фуфайку жжёт бока. Жутко завывает в трубе.

— За Тюриновым гумном было (за кладбищем, значит), мужики падали туда свозили... У кого телёнок околеет, у кого ярка, тужат, везут. Дело по весне, на Вербной неделе вышло. Денис Васильевич на охоту удумал, на тетёрок. Значится, возле падали и встретился он с лохматым оборотнем. Волчище — во-о-о! Ружьецо вскинул, а оно, как записка от ворот, прут прутом, не стреляет, а только: “Пуф-пых!”, а злодей окаанный — хоть бы хны, ни с места, огромным делается, будто бык-полуторник. Денис Васильевич опешил. Волк на него пялится, зубы скалит, вот-вот махнет и в горло вцепится. А барин (это мне покойный батюшка баял) в злодея глазами уперся. Они у него будто угли самоварные, льдину пробуровят. Волк хвост и поджал. Лихой человек это был, а не тварь лесная. Побёг в чашу, шкурку живей менять.

Грустно! Редкие, но уезжают верхнемазинцы в город, отрываются от Отмалов, Карпат, Винного, пахучей травки душицы. Спроси верхнемазинского горожанина, откуда он? Темнить не станет, выпалит, как на духу:

— Из Верхней Мазы!

Не застыдится, как заскорузлый модник убогой одежды своей матери, не увильнет от ответа, наоборот, с достоинством прибавит:

— Верхняя Маза — это там, где Денис Васильевич Давыдов поживал.

С историей села и с жизнью Давыдова нас детально познакомил учитель литературы и русского языка Иван Павлович Косырев:

— У Дениса Васильевича свой хребет был, — высказался как-то словесник.

— Как хребет? Он что, кошка? — изумились глумливые задние ряды.

— А вот так.

И передает учитель историю о том, как однажды Давыдова повышали по службе. Всё гладко шло. Другой воинский чин знаменитому человеку дают, высокий чин, направляют служить в тот род войск, в котором циркуляром запрещено ношение усов. Тёрли-тёрли Давыдова и так, и эдак, тот артачит. Не сбрил гордец усов. Не любил Денис Васильевич одну общую гребенку. И в стихах он стоял особо, даже Пушкин признавался, что “закручивать” стих от лихого партизана выучился.

И сам Иван Павлович Косырев — особый человек. С хребтом. Ходил он в бостоновом затертом, наверняка единственном костюме: брюки-галифе, китель с накладными карманами, узкие голенища сапог. Одежда делала его похожим на фигуристого пикового туза.

Только учитель — в дверь, и в классной комнате холодеет, студено делается, как летом в подвале или колодце. Иван Павлович, ехидный, розовощёкий Иван Павлович сиял из-под очков. Вместо глаз — медовые, приторные соты-ячейки. Пухлая ладонь педагога нежно поглаживает кромку стола. Вот он застёгивает верхнюю медную пуговицу иссиня-черного кителя, и каждый в классе жаждет одного — скорее получить двойку. Одну-единственную,

но только в начале урока. Двойка, и ты свободен на все оставшееся до звонка время.

Не тут-то было! Полная волосатая рука долго ползает по журнальному списку. Наступает такое ощущение, что вроде рука отдельно существует, и учитель отдельно, магическая, жуткая самостоятельная рука.

Иван Павлович, наконец, выуживает отпетую двоечницу. Резвая румяная девочка, хохотунья Нина Белоусова никак не может встать, оторвалась от парты, потом враз превратилась в сухую бескровную висельницу. Она спотыкается, тербит фартук, мучает тряпку, мнёт пальцами мелок, под всеобщее оцепенение разбирает предложение: “Со мной был чайник, единственная отрада в моих путешествиях по Кавказу”.

Иван Павлович походя вспоминает мизерные прегрешения девочки, победоносно взирает на неё выпученными сытыми глазами.

Зато уроки литературы у Косырева совершенно иные. Он не придерживался даже костяка школьной программы: учил нас писать стихи, сам отбивал ритм тупым носком хромового сапога:

— Только прислушайтесь, — рокотал резвый педагог, — “Буря мглою небо кроет...”. У Пушкина вьюжный, завывающий ритм.

По всему классу, по гулкому школьному коридору катится:

— Та-та-та-та, та-та-та!

Потом читал “Тараса Бульбу”. Бледнел, краснел, отирал пот, ронял очки, захлёбывался словами, ворковал себе под нос, истошно орал. И мы, как ни странно, всё понимали. Очень Косырев был недоволен трагическим концом гоголевской повести. Однажды принёс жёлтые листки с аккуратным, но уже вылинявшим от времени почерком.

— На-а-шел! — возопил учитель. — На-а-шел окончание, другой вариант “Тараса Бульбы”, тот, что давным-давно прислал мне Гоголь.

Класс остолбенел от учительской неслыханной наглости. А словесник взахлёб задекламировал подделку. Опять в комнате запахло знойной степью, речкой. Колька Елянюшкин стал походить на чубатого казака, и все уже верят, что сам Гоголь каким-то чудом из замогильного далека прислал нашему учителю концовку романтического повествования.

Никто не смел заикнуться:

— Сам, сам накатал, насочинял. Графена Черкасова, а не учитель.

На другой день — опять урок синтаксиса, опять с “чайником”. В класс влывает хромово-суконный айсберг. Однажды кто-то из ребят догадался: Иван Павлович — не Иван Павлович. Это два разных человека — братья-близнецы, злой и добрый. Вот поочередно они в школу и ходят, по стовору дома таятся. Верили в это и не верили, решили проверить. И послали на операцию Костю Куртасова, пообещав ему многое: почти бесшумный поджиг — самодельный револьвер, пять штук свинцовых козлов, книжку “Робинзон Крузо”. Кто что даст.

За такую великую награду Костя всё выведал, открыл нам такое, что мы вначале иронично усмехались, не верили ушам своим, долго не хотели отдавать обещанное вознаграждение.

Оказывается, наш учитель — кавалер двух орденов Славы. Заслужил он их в партизанском отряде во время Великой Отечественной. Он, как и Денис Давыдов, в регулярной армии служил, потом партизанил. В тех, давыдовских, подмосковных лесах здорово его контузило.

— Ваш учитель не мазинский, он откуда-то со стороны к нам прибился, семью у него начисто изверги спалили, мать... сестёр. А вы, шалапуты, небось всё досаждаете ему.

Случай помог. Мы более терпимо стали относиться к злым урокам русского языка, стали зубрить правила, а вскоре и разбор “чайника” показался нам не таким уж ледяным.

Ненамного, а вылечили мы сами сломленного войной учителя, преемника Дениса Давыдова, каким-то образом выгнали зло.

Самым замечательным человеком в Верхней Мазе, на наших Карпатах, считалась Черкасиха. “Графена” — звала её моя бабушка. Черкасиха — копия установившегося в сознании образа Бабы-Яги: нос крючком, острый, вздёрнутый подбородок, скрипучий голос. Лицом Черкасиха походила на ущербный под исход месяц. Никаких актёрских заведений не кончала музейная старуха, тем не менее идти с ней на дойку или в Винный — одно удовольствие.

— Артист вылитый! — сообщали про неё в Мазе.

Неожиданно крючкообразный нос расплывался в картофелину, острый подбородок делался пухлым, щёки — каждая с хорошую лепёшку. И вот она уже не Черкасиха, а дородная тётка Нюрка Шилова с городским выговором и язвительным язычком.

Всё на свете знала бабушка Черкасова: кто при смерти, у кого кто народился, кто от кого с кем гульнул, кто подрался. Сплетня, доведенная до артистизма, она уже и сплетней переставала быть. Черкасихе верили, поддакивали, долго пребывали под её чарами.

Семидесятилетняя Графена чрезвычайно страстно любила париться в бане. В раскалённом, замутняющем сознание воздухе она с таким же остервенением истязалась березовым веником, что мужики в предбаннике кричали от сочувствия. Адские сковородки — подобие полка, на котором извивалась верхнемазинская Баба-Яга. Парилась она в танковом шлеме своего сына фронтовика, пряча волосы, чтобы они не секлись от пыли.

— Васька, во-о-оды! — вопила она своему старшему сыну. И голенастый сутулый дядя Вася Черкасов срывался к речке, громыхал и булькал вёдрами, на ощупь, как артиллерист снаряды, впахивал воду в дверной проём. Черкасиха с воем и странными звуками “даб-даб-даб-даб” поддавала ледяную жидкость в разъяренное жерло печурки. — Васька, воды, окаянный!

Вываливалась в предбанник медно-красная, безжизненная, падала на лавку, тонко запорошенную ржаной соломой, куталась в полушубок. Отходила. В предбаннике всегда кто-то был.

Минута, другая, третья, и вот вначале одно веко Бабы-Яги дрогнет, приоткроется, потом на лице появляются узкие щёлочки:

— Батюшки-светы! Ба... ба... батюшки, — голосит Черкасиха, — опять к Нюрке Горбушке вертолётчик пристал. Ладный мужичонка, справный. Всамделишный. Тока, чую, из заключения он, оттедова. Папиросочки цедит тонёхонькие, а коробка с папиросами, как вот этот тазик цинковый, ясная. “Позвольте, — крик, — Анна Степановна, вас на кинокартину пригласить”. А она-то, финтифлюшка, губы трубочкой, воображает... Привиделось мне нонче, инда мороз по коже, колдуны наши Паларишиновы, обе двое, к нам на двор сиганули скотину портить, а я на калде спряталась, да как волком завою... Выла-выла, глаза тру: тю-у-у — пропали напрочь ведьмы. Только два тенетника в коровьи ясли, в сенцо шмыг-шмыг, и след простыл.

— Ух!.. Ух!.. — пыхнула морозом дверь предбанника.

Заскользнул весь прилизанный, в кургузой фуфаячке младший сын Черкасихи Ёхтарный Мар.

— Маманя, сидишь здесь, а Мишка Варламов ероплан смастрячил. Вот, ёхтарный мар, по всему селу как оглашенный носится. Тьфу, еросани, а не ероплан. Сказывают, в Софьино, к зазобе своей мылится.

Черкасиха, забыв про ведовские свои байки, шустренько оделась, вскочила в чёсанки и воющим снарядом вылетела из предбанника.

Ёхтарный Мар закатился:

— Ловко я её... ик... ик... объегорил... какие там еросани — лабуда одна. Не будет лясы точить, где надо — не надо.

Чуть позже опять хлопает дверь. С ведром воды на цыпочках, крадучись, является Черкасиха, наглухо пучками соломой затыкает глубокие банные отдушины. Ловко сигает в баньку к мурлыкающему сыну, и там хлесть водой в раскалённую печурку, скок назад, в предбанник, а банную дверь — на крючок.

— Пусти-и-и, ёхтарный мар, воздуху нету, — свирепо негодует брехливый сыночек. — Люди добрые, задыхаюсь!

Очень он не любил париться.

— По полу ползаю, всё мытьё насмарку, — с жалобным подвывом всхлипывает Ёхтарный Мар.

А Графена Черкасова неумолимо плюхалась на излюбленное место в уголке:

— Кольку Хватова встретила. Генерала. Пьянуший вдребезги. На роже — синяки, с кулак каждый. “Так и так, — крик, — мать честна, сапоги свои цыганятам пожаловал, вот баба меня старыми худыми сапогами и отмутила. Страсть цыган обожаю. А ежели, баит, я им сапог не выделю, другие тоже от ворот поворот покажут, что тогда? Околеют от холода. Им ходить надо по сёлам, должность такая — цыгане. Нам-то что? Кровь не бродячая. В печку носом клонул и — храповицкого”.

Тут я ему режу:

— Неколи с тобой, Николай Ермолаич, прохлаждаться, ты случаем Мишку Варламова на еросанях не видывал? Сказывают, к ухажёрке в Софьино заваялся.

— Быкам хвосты крутит твой Мишка на мэтэфэ счас. Еросани-то он ещё не осилил, кишка тонка. Просто на дворе хреновина воткнута вроде вертушки, вот таким кандибобером согнута...

Наконец приплелась в баню и моя бабушка, раскутывает меня, нагишаст. И я — уже не я, а игрушка в неумных бабушкиных руках. Она, как рубанком, стругает мочалкой, обдаёт щелоком, дерёт волосы, мылит голову куском хозяйственного мыла. Больно, скользко, дымно. Глаза разъедает колючая пена.

— С гуся вода, ещё ковшичка два, с гуся вода! — окачивает меня бабушка ласковой тёпленькой водичкой — из большого ковша, из маленького ковшика.

Зато в награду за мучения — полубоморочный отдых в предбаннике, блаженство терпкого, с запахом мокрой ржавой соломы воздуха. Пальцем шевельнуть силушки нету. Сквозь глухую очумелость доносится скрипучий невымытый фальцет Черкасихи:

— В нашу баньку шишиги повадились, ушлые, шельмовки, кажну ночь шастают... верно, понравилась баня-то... как же, по-белому топится, не то что чумазая развалюха у Крайновых. Шишиги — они шишигам рознь, есть и такие, что приветят, что ни спроси — сообразят за милу душу.

Пахнула Черкасиха своей широченной шалью, как ворона крыльями, да пером своим мне в глаз захала. И полетели по глиняным стенам разноцветные зерна, расплылись, покосились углы.

— Батюшки-светы — соринка! — запричитала Черкасиха.

— Соринка, — испуганно скривилась бабушка.

— Ёхтарный мар, к Паларишиновым надо, — солидно протянул Ёхтарный Мар.

Свернули треугольным конвертиком носовой платок, и ну — в глаз ширять.

— Ни в какую, не дается, придется к Анюрке с Марьей — на поклон.

Сестры Паларишиновы поочередно покачали пудовыми укутанными головами, поцокали. Старшая, Анюрка, категорически врачебным тоном рывкнула:

— Живей, Дунярка, тащи воды колодезной, язык охолонуть.

Бабушка опрометью по сугробам кинулась к колодцу:

— Натё вам водицы!

Анюрка шепчет над ведром, обмакивает свой, как спелая груша, язык в студеную воду, раз — и слизывает слезоточивую боль. Поистине — колдовство.

Не только соринка мешала мне, клещом въелась другая заноза — известие, что в нашей баньке по ночам гужуются добрые шишиги. Что бы я попросил у них?.. Чтобы мама моя навсегда приехала к нам жить, не на один день и не на неделю, а на-сов-сем.

А то вот прошлым летом ждал-ждал мамку, она только всего ночку нечевала, спать с собой взяла. Я ночью то и дело просыпался, волосы её нюхал, щеку лизал.

Ещё я попросил бы у волшебниц, чтобы дедушка Иван Романович не посылал меня по мазинским порядкам веретена продавать, будто я буржуй какой. У этих шишиг можно под конец знакомства и увеличительное стекло для выжигания выклянчить.

С мокрой головой засобирался я к Хватовым, чтобы детей дяди Коли Вовку с Мишкой подбить на вылазку к банным шишигам. Дяди Колина саманная избенка по вечерам мужиков как магнитом притягивала. Тут чуть не вся деревня резалась в карты, в какого-то матершинного “петуха”. И мы, пацанчики, возле стола вились, в надежде, что кто-то в припадке великодушия размашисто сыпнет по полу горсть медаков:

— На, на коврижки!

В махорочном чаду мы менялись кознами-свинчатками, стращали друг друга жуткими историями, лузгали подсолнухи. На всю Мазу слышны были шлепки замызганных карт да крики:

— Валета, валета зажал!

— А я шеперочку кверху брюхом перекувырну.

На этот раз в избе было тихо и на редкость свежо. Босые ноги Генерала торчали с печки, как две сухие бустылины.

— Храпит, прод царя небесного, налакался, да отчебучил-то что? Свои сапоги цыганятам сосватал. Отчебучил так отчебучил! Наши Мишка с Вовкой — в бане, плещутся ещё, — скороговоркой сообщила тётя Поля, сухопарая хозяйка глинобитного особняка.

И тут я принял решение: как погуще потемнеет — к банным шишигам пойду один. Зачем мне товарищи? При них стыдно маму выпрашивать. Боязно, страшно, а идти надо.

Мои купленные на вырост валенки то и дело застревали в глубоких сугробах. Случалось, я выдергивал из валенка ногу и по инерции совал её в твердый снег. Оборачивался, руками вызволял валенок, трусил белую пыль и шагал дальше. Ночью дорога длиннее, из-за темноты, наверное. Но вот и баня, серая, припорошенная снегом, как пасхальный кулич. Я различил в крохотном звеньшке свет.

— Есть кто-то, — ёкнуло сердце, — придется повременить.

Притаился неподалеку, в речном ивняке. Летом здесь на пологой отмели плотва хороводилась. Сейчас скучно и холодно. Мёрзну. Хилая банная лампадка всё по-прежнему подмаргивает. В валенках мокро, озноб по спине пробирает. Так можно всю ночь пропрыгать, пока сосулькой не станешь.

Выбрался я из своей сомнительной засады и мигом — к двери, там ждать не стал, в предбанник шмыгнул, как летом в холодный пруд. В тёмном предбаннике — ни души. Пригляделся: на полу, по соломе конфетные бумажки раскиданы.

Ведьмы — сладкоежки! — удивился я. — А может, и нет их вовсе? Лампадку кто-то забыл задуть, вот она и коптит... и чего это всё время бабушка причитает:

— Поехала счастье пытаться твоя маманя, счастье...

Счастье... Что такое, зачем оно?

Висячим тяжёлым крючком осторожно царапаю мокрые дверные доски. Оттуда — тихо, ни гу-гу.

— Будь что будет, — злось я и от злости храбрею, заполошно тарабанию запором.

В бане чавкнуло. Ещё и ещё раз. Словно шишиги те роняют на пол мокрую тряпку.

Я отскочил от двери. Тут же она распахнулась. И голова чужого незнакомого мужчины прижала меня в угол. Жесткая, как стальная, пружина распрямилась в моём теле, ноги — не ноги, а ходули, сразу за солому зацепились. И крикнуть не смел. Мужчина тоже отступил.

— Перетрухал, дурашка, — просипел незнакомец, — не бойся, верто-

лётчик я! Чего ты трепыхаешься, как воробей под застрехой? Вытри росто-поль с зенок.

Горло тутим шарфом затянула удушливая судорога, щёки — как в кипятке, в слезах. Не только с испугу я рыдал, от другого: нет шишиг никаких, ни злых, ни добрых. Враки всё Черкасихины. У кого теперь мамку выпрашивать?

Я долго тряся, всхлипывал, пока не очнулся. Жилистая рука взвихрила мне волосы, его ладони хорошо пахли куревом.

— Меня вот тоже вытурили. Чертовка горбатая! Ничё, на нарах кемарил, теперь в бане, на полке придется. Отосплюсь и в город махну. Не бойсь, дурашка, проживём! Стрелочницы — народ не дикий, культурный. Аккуратная краля.

4

Анюрку Горбушку пугали так. Выскабливали внутренности огромной тыквы. В её корке прорезали раскосые дырки для глаз, ножиком выстругивали рот с неровными зубами, в полую овощ вставляли зажженный электрический фонарик и... тарабанили в ночное стекло сорокалетней горбуны.

Замирали в сладком испуге наши смущенные души. И вот сонная, резко очерченная ярким полнолунным светом физиономия отшатывается от маски. Овечьим табуном и мы шарахаемся в сторону. Изредка наблюдаем, как от спички розовеет коленкоровая занавеска, потом шторка делается ярче, белее. Значит, Горбушка вздула лампу. Проходит время, и окно опять сливается с темнотой. Мы вдургорядь подкрадываемся к задремавшей избушке, торпливо дзенькаем по стеклу, включаем тыквы. Окно вспыхивает, по нему мечутся гигантские тени.

Наутро скучная улица оглашается удалой музыкой. Анюрка Горбушка в отместку озорникам крутит патефон. Он стоит на облупленном подоконнике, весело сияет никелированной головкой звукоснимателя. Рядом с коричневым ящиком высится неровная стопка пластинок.

— Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идёт, — неистовствует аппарат.

— Тётъ Нюр, здрасте! Наше вам с бантиком! — с ехидцей приветствуем мы хозяйку музыкального салона.

— Тётъ Нюр, как ночевали?

— На нём защитна гимнастёрка, она с ума меня сведёт! — подпекает тёмному ящику Горбушка, лукаво, по-заговорщицки прищуривается и высовывает свой мясистый, в белых крапинках язык. Она процала весёлое озорство.

Собирала нас в кучу во дворе и показывала свои наряды.

— Вот это платьице я сшила для первого мужа, вернее, для себя... ну, когда замуж выходила. Он у меня геологом в партии был. Порешили его лихие люди, — кручинилась Горбушка, закатывала глаза и юркала в узкую дверку своей халупки — переодеваться.

Крепдешинный сарафан наша великовозрастная подруга приобрела, когда встречалась со знаменитым полярником, тем самым, который замёрз на дрейфующей льдине.

— А это платье из батиста, когда с вертолётчиком жила.

Тётя Нюра смешно дёргала своим широким, почти мужским плечом и кружилась рядом с глухой крапивой среди заполошенных кур и дровяной шелухи.

— Счас я вам пирожков вынесу черносмородиновых.

И перед мальчишечьей ватагой вырасталось громадное сито-решето с горой пирожков.

Глазом моргнуть не успеешь, как в решете уже мелкие дырочки видны. Горбушка кудахчет вместе с хохлатками:

— Рисковая специальность. Инда поседел, что поярковые чёсанки у деда Ивана Романовича. Как не поседеть — всё время на небе. Тут на велосипеде раз крутанёшь и на кочке растянешься. Работёнка — не приведи леший!

Только в последнее время что-то Горбушка не примеряла свои наряды, а целыми днями маялась у окошка, слюнявила пальцы, листала пухлые книги. Прочтёт одну-другую, нас за стаканчик семечек нанимает в библиотеку бежать за новыми книжками.

— Чокнется с чтением своим, — резюмировала практичная няня Валя, — шла бы на маслозавод ишачить, там узнала бы, почём фунт лиха... Проклятые колени, спасу нет!

— Хворает, кажись, как не занедужить, — решила бабушка, — она и так полоумная. Кавалеров ждёт. Всю пенсию свою спускает на сундук. На тряпки. Питается одной ягодой. На брюхе — шёлк, а в брюхе — щёлк. Шёл бы ты лучше на Гору, не путался под ногами.

Весной все развлечения проходили на пригорке — Горе. Солнце хищно съедало последний оплавленный рафинад сугробов. На жирных проталинах, как на промокашке, мгновенно выступала густая, колкая с виду, зелень. Пьяно пахло дремотной юной землёй.

На этих зелёных островах мы кутались в фуфайки, на сухих поленьях увеличительными стёклами выжигали замысловатые узоры, играли в клек, “чижа”, лапту.

Лапта — с утра и до вечера. Уже ноги подкашиваются, уже, ошавев от азарта, почему-то кидаешься в другую сторону от своих соратников, а всё хочется ещё и ещё раз резануть по особенно звонкому в весеннем воздухе мячику.

Взрослые не выдерживали соблазна, спешно взбирались в Гору, якобы поглядеть, потом, как по-писаному, кто-нибудь из мужиков укоризненно хмыкал:

— Рази ж так бьют? Хм...

И плечом оттирал пританцовывавшего нетерпеливого мальчика.

Здорово душил по каучуковому комочку дядя Вася Черкасов. Его крученный мячик вырывался из самых цепких рук. Юрко сновал по полю в рваных брезентовых тапочках его младший брат Ёхтарный Мар. К вечеру взрослые оттесняли детей, резались в лапту сами. А мы, защищенные ручательством ребячливых мужиков, палили кудрявые дымные костры из автомобильных покрышек.

В один из таких азартных вечеров и прибежал и поломал всю лапту, все костры дядя Коля Хватов.

— В даррр-данеллы мать! — в сердцах ругнулся Генерал. — Горбушка-то наша... того...

— Спятила, что ли?

— От книг... от вертолётчиков.

— Нет Горбушки.

— Как так “нет”? — откинул в сторону тяжёлую битую дядя Вася Черкасов. — Сбежала, что ли, куда?

— Очень просто... лежит... мертвая... на лавке.

Она и письмо оставила. Чтобы в гроб положили в майском цветном костюме и чтобы всю стопку пластинок в последнюю дорогу проиграли.

Бабы пустились обмывать, обряжать покойницу: ан ни туфель, ни тапочек каких у тряпичницы Горбушки в доме нет. Как в воду обувка канула.

Костю Куртасова и меня снарядили к нему сапожнику с двумя суровыми нитками — размерами: длина, ширина ступни.

— Да яичек для него захватите, он поживей сварганит.

Навязали узелок.

Немой обувал своими брезентовыми тапочками всю Мазу. Покрякивал, мычал, ширял кулачищами туда-сюда, только жирно натёртая варом дратва струной звенела в могучих руках.

Костя жестами изобразил вроде горки — горб, Горбушка то есть. Сложил ладошки шалашиком и к уху их приставил. Уснула, мол, совсем Горбушка.

Немой мыкнул, дёрнул из моих рук ниточки и треугольным лезвием заполосовал брезент.

От яиц негодующе отказался.

Горбушка в гробу лежала молодая. Наверное, такой она была до несчастного случая (шла на почту, девчонкой ещё, да снежная губа под её ногами обломилась, и ударилась об ледовую гряду позвончиком). На Карпатах, в доме Горбушки, последний раз наяривал патефон весёлые песни: “Вот кто-то с горочки спустился”, “Когда б имел золотые горы”. Затянутые в чёрные платки бабки опасно крестились, называли Горбушку охальницей.

За Тюриново гумно гроб несли по жидкой грязной кашнице. Вся наша Вторая сотня тянулась хоронить.

Месили грязь осиротелые мальчишки, те, кто тыквой страшал покойницу, кто уплетал когда-то её пирожки со смородиной и крыжовником, глумился над очердными “вертолётчиками”, “физиками”, “хирургами”.

Перебирали ногами, семенили старухи, запасливо отработывали свои будущие похороны.

Я впервые близко встретился со смертью. Не понимал, как это так: вчерашняя разбитая Горбушка сейчас втиснута в сосновый, плохо оструганный ящик. На ней тачанье у немого тапочки, сарафан в горошек, тот самый, в котором она прошлым летом красовалась, модничала перед нами. И всю дорогу на кладбище мне мнилось: Горбушка живая, дышит, погоди, дядя Серёжа, стой, дядя Вася, повремени, дядя Миша, вот она сейчас привстанет из своего нелепого сундучка, расхохочется, вывалит назло всем свой мясистый язык:

— Обманули дурака на четыре кулака!

И только когда над уже несуществующей Горбушкой вырос холмик, аккуратно, со смаком прихлопанный лопатами, меня ужалило какое-то пустое, щемящее, доселе неведомое чувство. Так и бабушку мою закопают в темноту, в грязь, в землю, и меня через много лет спустят в яму. И всех. Всхлипывал я и от того, что уже тепло и будет красиво кругом, влажный воздух пахнет весной, что сегодня опять пойдём на Гору или заберёмся в сарай к Косте Куртасову и по очереди будем читать “Робинзона Крузо”, плакал оттого, что легко, радостно жить, и жизнь такая ласковая, как весеннее солнышко.

Поминки по Анюрке Горбушке прошли роскошно: с водкой и гульбой. Так прошли, как она просила в своей записке, черкнутой наспех перед тем, как проглотить какой-то аптечный яд.

Вечером мы жгли автомобильные покрышки. Они громко трещали, сырали в тугое небо, как в барабан, яркие весёлые горошины.

5

В магазине, который дед называл то “кооперацией”, то “мериканкой”, продавалась всякая вячина. На витрине отливала серебром любимая бабушкина селедка, под стеклом портилось из-за отсутствия спроса горьковатое шоколадное печенье, в мутных стеклянных вазах, как разбитая вражья армия, веером разметались конфеты. Ни дед, ни бабушка в сладостях мне не отказывали. Дома на оконном косяке всегда висел неиссякаемый мешочек “язык посладить”. И всё-таки, всё-таки трое неразлучных: Валька Сторожев, я и Костя Куртасов выкрали из магазина несколько горстей хамсы.

Хамса, товар презренный, ютилась на дощатом крыльце магазина. Во время перемены равнодушной походкой мы подошли к заржавленной бочке и ладошками начерпали из неё мелкой рыбы. Тут же проглотили штук по пять. Остальную рыбёшку раздали одноклассникам.

На другой день потрошителей рыбных бочек позвали к директору школы.

Иван Иванович Зимин сурово выхаживал по своему тесному кабинету, резко на каблуках по-армейски поворачивался. Казалось, вот-вот — и всклокоченное чело его стукнется о стенку. Наконец, метания Ивана Ивановича утихли. Он стремительно брякнулся на витой домашний стул и заклекотал. Сходство с орлом придавали ему и воронки щёк. На фронте вражеская пуля легко пошутила над нашим директором, пробив навывлет обе щеки.

— Бальтики (мальчики), — покраснел нервный Иван Иванович. — Бде за бас пыбно. Божете идти.

Ужас скользким кольцом заполз внутрь. Всё вокруг запахло маринованной килькой: школьный глобус, парты, промокашка, даже сочная трава за окном источала тошнотворный солёный запах.

Мы храбрились:

— Подумаешь — “пыбно”!

Но глаза выдавали.

Проступок разбирали всем классом. Меня вызвали к учительскому столу, на который облокотилась наша пожилая Мария Григорьевна и другая учительница с бесцветными глазами в блеклом вылинявшем платье. Говорила, в основном, чужая:

— Стыд и позор. Позор и стыд... что, если в роно узнают?

Роно — короткое, непонятное, чудовищное слово. Роно боялись даже учителя. Нас нещадно клеймили товарищи. Колька Елянюшкин, вчера жадно уничтоживший пряную добычу, подхватил:

— Стыд и позор!

Елянюшкин доконал. Лица бушующих одноклассников и печальных учительниц расплылись в бесформенные пятна, в скользкие ёлочные фонарики, перезрелые малиновые помидоры.

— Бу-бу-б-б-бде за бас пыбно бу-бу-б-ро-но, — бубнил искореженный глобус.

Но вот что-то холодное возвратило назад светлый потолок, затем неровную приятную кромку парты. Под собой я увидел алюминиевую кружку и бескровное лицо чужой учительницы.

Вальку с Костей из школы забирали родители, меня волок за руку дед, Иван Романович. Самое позорное ждало впереди.

Чвакнула обитая клеенчатыми лоскутами дверь. Дед, громыхнув ведрами, пошёл поить корову Субботку. А я... я, съёжившись, проскользнул мимо бабушки в чулан. Евдокия Ивановна сидела на сундуке и красноречиво молчала. Лицо? И лицом не назовёшь. С таким видом бабушка уходила на похороны своих подруг.

И только поздно вечером в избу зашёл дед. Он принёс промасленный свёрток. Шмякнул его на стол, развернул и велел есть. В кульке оказалась ненавистная хамса.

— Ешь, ешь, ешь, — шипел дед.

И рыбёшка, как недавняя учительница, стала разбухать и вторить:

— Ишь, ишь, ишь, ворриш-ка.

Потом старые дед и бабка гладили меня по волосам. Бабушка целовала мне руки и всхлипывала. Стало ещё хуже. Всю неделю, весь месяц, до начала летних каникул нет-нет да и вспоминал я свой дурной поступок. Он портил мне житье вплоть до замечательного и неожиданного события.

Утром, ещё в постели, услышал я, как заливалась Черкасиха:

— Ну, Дунярка, радость-то у тебя. Видно, барана колоты — не миновать, секир башка барану, — Лизавета твоя возле маслозавода на плотине плещутся с новым хозяином. Разнагишались и бултыхнулись в воду при всём честном народе.

Бабушка вроде и не обрадовалась, дёрнула подбородком, как муху прогоняла, для чего-то потуже подпоясалась:

— Что загалдела? С хозяином да с хозяином... Она давно мне об хозяйине своём в письме сообщила, добрый, писала, мастер на все руки от скуки.

— А не пыталась ты Лизавету, внука твоего на себя запишет или как?

— Я, если хочешь знать, и не отдам его. У них ведь, у молодёжи, как? Милуются-целуются, а завтра — табачок врозь, поматросил и бросил. Расчесаться бы надо, как Петра встречать с такой головой? Гребешок как назло куда-то запропастился.

Дед ввернул свою давно всем знакомую фразу:

— Выйди на дорогу, плюнь кому-нибудь в глаза — расчесут.

А из окошка уже шныряла глазами по углам избы завистливая бабушкина золовка Марья Муравова:

— Авдотья, идут-идут сроднички. Баул огромный прут, небось, всех одаривать будут.

Я вскочил с кровати и тоже метнулся к окошку. К завалинкам своим, к воротам, вроде бы по делу, выскальзывали наши курмышенские бабы: кто якобы для того, чтобы курам подкинуть, кто — занять кружку дрожжей для завтрашних пирогов. По белесой пыльной дороге плыла моя румяная мама, а с ней вышагивал мужчина в рубашке с короткими рукавами.

Бабушке изменило хладнокровие:

— Абетюшки! Живей, Иван, с верстака своего хоть стружку смахни, а я привечать побёгла.

Сдёрнула с оконного косяка праздничный запон, фартук. Не помня себя, и я кинулся к калитке и тут же уткнулся в мамины прохладные губы. Она не так, как всегда, немедленно оторвала меня и, испуганно заглянув в глаза, шепнула:

— Это отец твой, так и называй: папка.

Мне, конечно, хотелось иметь папку, такого вот мускулистого, с мокрыми, небрежно закинутыми назад волосами, при часах, в шелковой немазинской рубашке, хотелось... да ещё как!

Новый папка кольнул меня щетиной, потрепал жиденькое плечико:

— Мы друзьями будем. А подарков я тебе привёз, глаз не хватит глядеть. — Он грохнул на дощатое крыльцо свой грандиозный баул, повозился с замочками и откинул крышку:

— Это лабуда одна... носочки... рубашки... во! Глянь сюда...

Ладонь мамкиного спутника подкидывала ножичек с цветной толстой ручкой.

— И вот ещё фотоаппарат “Смена”. Всех заснимешь.

От счастья я онемел. Из дорожного сундучка выскакивали конфеты величиной с кулак, зеленоватый таджикский сахар в кристаллах, дивные, сладко-солёные подушечки, притрушенные мукой. Из чемодана, как из волшебного ларца, вылетела тёплая в клетку шаль для бабушки, защитного цвета, почти военная, с пружиной фуражка для Ивана Романовича, отрезы на платья для родственников, шаблов и просто для тех, кто переминался с ноги на ногу в нашем просторном дворе.

— Хозяин у Лизаветы справный, гостинцы раздаёт.

— Привалило счастье, ого-го, козырный мужик.

На этот раз и я вроде бы забыл, что моя мама вернулась в деревню, ко мне. Меня распирало гордое чувство: “Отец появился!” Не мог сидеть я и наблюдать кухонную мороку. Тем более что тётка Марья Муравова всё тербила:

— Отцом будешь звать-то?.. Зови!

Выскочил я на улицу от цоканий, вздохов, взрослых кривляний.

— И всё же кровь чужая не греет! А ты так и скажи: папка, мол, возьми меня с собой в город.

Сразу же меня облепила пацанва. Мальчишки тоже радовались моей радости. Необыкновенный ножик реально подтверждал значимость моего папки, подталкивал ребят к расспросам:

— Кто он? Кем работает?

Подбивало ошарашить:

— Лётчиком-испытателем!

Но это уж слишком.

— Столяром... Но зато он железную записку от ворот руками сгибает, мускулы — во-о-о!

Наш курмыш вечером гулял. Пили белое вино-водку, плясали, чадили папкиными папиросами. Дядя Коля Хватов, дядя Вася Черкасов с братом своим Ёхтарным Маром бестолково галдели. Наедался впрок в уголке скупой владелица первой в деревне легковушки дядя Саня Сомов, облизывала сладкий гостинец Черкасиха. Зубами она кушала круглую конфетку, а глазами ела всё подряд, боясь пропустить хоть что-нибудь интересное, чтобы завтра на пути в Винный не опростоволоситься и выдать такое, отчего спутницы рты пооткрывают, как карасы на берегу.

На лужайке возле избы схватились мой новый подвыпивший папка с маминым братом дядей Виктором.

Подзуживали. Дядя Коля Хватов сипел:

— Городские — они склизкие, их голой рукой не возьмёшь.

— На микитки его, на микитки, — по-воробыному ерепенился плюгавый дядя Лёня Рябов.

Кувыркались беззлобно, с усмешками да прикрякиваниями, но как-то случилось, что затрещала, поползла дяди Витина рубашка. Папка тут же скинул, наверное, сторублевою безрукавку и сунул её новому родственнику:

— Носи, какой разговор... у нас таких в городе на каждом углу.

Ночевать мама с папой полезли на подловку, на сеновал.

Я всё увивался вокруг них, сухие ягоды земляники из сена дёргал, пока мама не обозлилась чему-то и не шуганула меня с чердака. А утром Иван Романович и новый папка регулировали токарный станок. Дед своими пилами донимал:

— Англицкие, — зудит, — пилы, “Лев на стреле”.

Иногда Иван Романович делается, как репей, пристанет — трактором не отдерёшь. Хорошо хоть папка сам заметил, как мне скучно: пошли мы с ним к речке, там моим ножом свистков нарезали.

По пути новый отец всё выпытывал:

— А другого папку помнишь? Ну, того — Лёньку?

О том отце я знал только, что он — жулик. Где-то своровал пять ватных одеял, продал их, пропил и сел в тюрьму, потом вернулся из заключения и куда-то сгинул.

— Нет, не помню. Зачем он мне, тюремщик? — памятью бабушкины наставления, пренебрежительно кинул я. — А я вот тоже чуть вором не стал, — неожиданно для себя признался я.

И выложил папке всё про хамсу.

Папка постучал по большой коробке “Беломора” папирской, дунул в трубочку и жадно затянулся.

Я решил: вот вырасту большой, как он, и тоже буду курить “Беломор” и так же крошки табака выстукивать из папирсины.

Вечером мы с папкой пошли косить траву для Субботки. Отец сорвал с себя майку:

— Ой-ой-ой, припекает как. Марит!

Поплевал на ладони, прежде чем ухватить окосиво, и пошёл, покачиваясь, по Винному оврагу, сильный, потный. Весёлый — со скользкими стальными плечами.

Он докосил до островка душицы, упёрся в косу подбородком.

— Запах какой чудной?.. Прёт от травы, ошалеть можно. Я ведь тоже из деревни. Орловский... Траву понимаю!

Я загордился:

— Мы душицу с чаем пьём, в кипятке завариваем, она и от зубов помогает, вот заболят у тебя зубы.

— Дак нарви травы к вечеру, чаек заварим.

Я сунул за пазуху несколько пучков душицы и стал репейным листком носить воду из Винного. Вначале отца напоил, а потом стал паука из норки выливать. Паук долго не выливался, мы и не заметили, как потемнело вокруг, как небо хлестнуло по сочным папиным грядкам, по сизым головкам татарника, по известковому противоположному берегу оврага бурными потоками воды.

— Ой-ой-ой, попадёт нам с тобой от мамы.

Он схватил меня, как охалку сена, прижал к себе. Всё равно это не спасало от ливня, но я не отстранялся.

Как пришёл, так быстро и улетучился дождик. Мы домой засобирались. Дома уже завывал самовар, тонко, протяжно. Из-за пазухи я достал пучок мокрой душицы.

Пили чай, дед подшучивал:

— А ты, Коляка-моляка, чай не пей, пузо своё оближи, оно ведь душицей пахнет.

Мой новый папка подмигивал мне, дул на блюдечко и шумно, совсем по-нашему, по-деревенски, пил чай.

Легко перечислить то, что бабушка Дуня любила. Ей нравилось белить свою избу как можно чаще, и перед светскими праздниками, и перед церковными. Она обожала стряпать, печь пироги в широкоплечей печке. Заветным для Евдокии Ивановны был тот час, когда хлеба отдыхали. Доходят на сосновых некрашенных полках душистые холмики, плотно прикрытые льняными утирками — и в её глазах светло.

— Баб, можно пирожка горяченького?

— Ни-и-и! — пугалась бабушка. — Жди, как отдохнут, а то зачерствеет враз.

Без преувеличения можно признаться, что дух от горячих бабушкиных пирогов был слышен по всему Курмышу.

Евдокии Ивановне доставляло удовольствие ставить самовар. Нащиплет косырем трескучей, смолистой лучины, воткнёт растопку в самоварное нутро и протяжно раздувает, заводит. Раскраснеется, как яблоко осенью.

Этим же гигантским тесаком с придыхом “хэк-хэк” азартно выскабливала некрашенные полы в передней. Сейчас трудно вообразить такое: зеркальный самовар с раздутыми, будто майские шарики, физиономиями на боках, свежие, медового цвета, полы.

— Пироги так и дышат, — расхваливал Евдокию Ивановну дед.

Стены в нашей избе были увешаны фотографиями в гладкоструганых рамках. Удивительное дело: самые старые дедовские снимки только чуть пожелтели. Но желтизна придавала им особую прелесть. Вот молодой дед Иван Романович запечатлен с товарищами в форме ефрейтора царской армии. Он — участник Первой мировой войны. У деда широкоскулое, красивое лицо, фуражка с высоким околышем, сапоги гармошкой. Франт, да и только!

На других снимках красуются разновозрастные родственники: голопузые мальцы, щекастые тётки, застенчивые остолбенелые старики.

Моя самая дорогая фотография: бабушкин брат Григорий — в буденовке, на горячем коне. Скакун взметнул свои копыта, как на знаменитом питерском памятнике. Потом я узнал, что чересчур борзой конь — художественные упражнения армейского фотографа. Несмотря на подделку, бабушкин брат Григорий всем своим видом внушал мужество и отвагу. Я им гордился.

Разглядывание и перетасовка фотографий в разноцветных рамках — одно из приятнейших развлечений бабушки. Фотографические пасьянсы составлялись и по значимости родных, и по их взаимным симпатиям, и по географическим признакам — кто где живёт.

— Эти, мазинские — в зелёную рамку, софьинские — в морковную, — приятно мурлыкала бабушка. А рядом с чуланом, далеко от людского глаза, висела особая Субботкина рамочка. На снимках здесь изображена наша корова анфас и в профиль, крупным планом и мелким. С виду — обыкновенная бурёнка, каких много.

Я учился в шестом классе, когда эту корову по старости сдали в заготекот.

Бабушка крепко тужила. Я злился скорее всего от жалости к четвероногому члену нашей семьи — Субботке. Под шумок сбегал к Кольке Черкасову — Ёхтарному Мару.

— Дядь Коль, дело есть: щёлкни нашу корову на память.

— Во даёт, ёхтарный мар, не щёлкни, а сфо-то-гра-фируй. Аль в скотину влюбился? А, пацан?.. Изобразю. Какой разговор! Руки вот только трепыхаются... перебрал вчера, кхм-кхм... сдача коровы? Такое дело и сбрызнуть не мешало бы.

Ёхтарный Мар долго, суматошно искал клеенчатую с кистями шаль — главную принадлежность фотокамеры, потом тщательно зализывал назад масляные прямые волосы. Такая причёска в Мазе называлась “политзачёс”.

Вскоре Иван Романович подпрыгивающей рысцой побегал в “мериканку”. А бабушка закутилась у печного шестка.

— Картошка без костей — подаётся для гостей, — мужественно приговаривала она. В радости и печали Евдокия Ивановна выражалась складно.

— Фу-ты, шайтан эдакий, нос испачкала сажей печной. Нос — табаком зарос.

Через полчаса в горнице уже наполнялись стаканы. Фотограф долго вертел свою стопку, приглядывался к ней. Мучительно, будто острое кинжала, вонзал он белое вино в своё горло. И тут же повеселел, тут же забалагурил, сообщил о чистоплотности немцев. Ёхтарный Мар служил в Германии.

На полуслове споткнулся, вытянул руки вперёд, словно при зарядке:

— Всё в ажуре, зацементировал, айда во двор.

Укутал в шаль трёхногую свою шарманку, уткнул в темноту масляный прибор.

Корова в ответ недоверчиво попыхивала ноздрями, косилась на Колькину конструкцию, дёргала холкой и хлестала хвостом, как слепней отгоняла. Чуюла недоброе.

Бабушка отворачивалась от фотоаппарата, словно корову не на плёнку снимали, а лишали жизни.

— И назвали её Субботка. Майка отелилась — я баню топила, в субботу. Почти человек. Только не калякает, — разносился по двору неровный, как при простуде, бабушкин голосок.

Субботка — грузная бурая корова бестужевской породы, с виду была довольно свирепой наружности. Крутобокая, рога — словно ухват для ведерных чугунов. Только глаза — доброго коричневого, бархатистого цвета — выдавали ласковый норов нашей кормилицы.

Помню, как дед топтался в сених, обивая от снега валенки:

— За скотиной востро глаз держать надо, не ровен час...

Нашу избу чуть ли не до печной трубы заваливало снегом. Прокопали три тоннеля: к колодцу, к дровяному сараю и в хлев.

А ночью я проснулся от шума. Пылает десятилиннейная лампа, и в руках у Ивана Романовича фонарь “летучая мышь” подпрыгивает, по стенам громадные тени корчатся. Это бы ничего, если бы не торопливые бабушкины сборы. Дед шепчет, чтобы меня не разбудить:

— С прибылью, Авдотья!

— Ну-у! — радостно откликается бабушка. — Неужто принесла!

К полудню “прибыль” уже высохла вся, даже скользкие розовые копытца. Бабушка распекает деда:

— Шлындаешь туда-сюда. Ты сперва в сенцах постой, мороз там оставь, а потом — в горницу, застудишь телёночка-то.

Хрупкое существо присосалось к бутылке с жёлтой жирной жидкостью — молозивом. Не только меня, но и взрослых оно приводило в умиление своей беспомощностью: сучит ножками, царапает пол, а подняться нет мочи.

Мне хочется его погладить:

— Подойди, только легонько.

Зимой жить интереснее, чем летом: то на речку бежишь “кошки” поджигать (“кошки” — пузырьки во льду с горючим газом), а то катаешься с горы на ледянках. Это старые, прохудившиеся тазики, обмазанные со дна навозом да политые водой. По прикатанному снегу ледянки летят, как пуговицы по стеклу. Страшно и весело.

Весь день катаешься, катаешься, а внутри тает “карамелька” — дома телёночек. Он уже и на ноги встал, качается во все стороны, как этажерка без гвоздей.

Я воровато щупаю его лоб, нет ли там бугорков. Бабушка запретила это делать, страшилась:

— Вырастет, бодаться-пыряться станет.

А мне очень хочется, чтобы у Сынка выросли рога. У Сынка! Честное слово, каждая вторая тёлка в деревне — Дочка, каждый третий бычок — Сынок.

Не от скупой фантазии — от теплоты душевной к животным. Никто над этим не смеялся. Да и ласково.

Запах в доме был, но никто этого не замечал, он был естественным, как хлебный дух из печки, как аромат антоновки из сундука, как летний солнечный запах душицы на печном плечике.

Память подсовывала другую картинку.

— Не молоко, а гольные сливки, — чистосердечно восторгалась Евдокия Ивановна и казала собеседницам балакирь с воткнутой в молочную твердь ложкой.

— Пахтаньем можно щи забеливать, — ещё больше дивилась владелица редкой худобы.

Бабы цокали языками, завидовали.

Реклама чудесной скотинушки довела до того, что из колхоза приехала на скрипучей бестарке женщина-зоотехник. С порога, как по кочкам, понесла:

— Продайте свою кэрээс для улучшения общественного стада.

— Ни-ни, — обижалась Евдокия Ивановна, оскорбленно мотала головой, отворачивалась к окну, — какая она кэрээс? Субботка.

— Колхоз вас всем обеспечит: мёду, масла растительного выпишем, другую корову приведём. Племенную!

Баснословно ценное для верхнемазинцев подсолнечное масло не прельщало.

— Чтоб я родную корову да в вашу грязь?!

Субботка всегда была в курсе верхнемазинских новостей, знала все хозяйкины заботы и хлопоты. Евдокия Ивановна дойку начинала так:

— Ну, корова, будь здорова!

Подмигивала любимице, хлопала по гладкому крупу, щекотала за ухом, протягивала кусок подсоленного хлеба или ватрушку, корила за провинность:

— И-ех ты, фефела, извалтузилась вся!

Тёпленькой водицей споласкивала вымя, растирала с вазелином соски.

Вот в пустую доёнку ударяла звонкая струя “пиу-пиу”, и Субботка умиротворённо пфукала.

Протяжно переводила дух и бабушка, начинала рассказывать:

— Вечер приходит шабренка и баит, что сорока возле нашего дома хвостом крутила — то туда повернётся, то сюда. К гостям, видать...

А подоит Субботку — ко мне мчится с большущей алюминиевой кружкой:

— На-кось, вечерошника испей!

Нежнее к губам разве что одуванчик прикасается, сладкая пена щекотала губы, и от этого вечерошника окутывала меня сладкая дрёма.

В Субботкиной жизни случались и чёрные дни: бабушка уезжала в город Сызрань чесать овечью шерсть. Перед автобусом Евдокия Ивановна пробегала по порядку, робко просила подоить корову, уговаривала то золовку Марию Муравову, то тётку Лену Бычкову, то Веру Черкасову.

Вечером, когда пригонят стадо, смех и слёзы. Коровы ни в какую не подпускала к себе и кокетливо-ласковых, и откровенно рассерженных женщин. Субботка грозно крутила своим ухватом, брыкалась, грозно мычала, больно хлесталась хвостом. Дед, изловчившись, сырмятными ремнями притягивал корову к столбу. И только благодаря акробатическим ухищрениям тётки Веры Черкасовой удавалось сцедить молоко, лишь сцедить, чтобы вымя не испортить.

Ночью Субботка не спала: переживала, мыкалась по стойлу, “жевала серку”. А спозаранок являлась весёлая бабушка, раздавала гостинцы: мне — клейкие петушки на палочках, деду — нюхательный табак “Золотая рыбка”, а Субботке — городской батон, сладко пахнущий ванилином.

— Руки ооченели, озяб! — с театральным стеснением признавался Ёхтарный Мар, складывая треногу.

— Да там ещё оставалось для сугреву, — успокаивал его дед.

Женственный Ёхтарный Мар уже лихим жонглёрским движением опрокидывал стакан, мелкими зубами аккуратно жевал огурец.

Дед шумно занюхивал водку коркой хлеба, жмурился, его нос делался ещё пунцовее, как картофелина, выросшая на свету.

— Н-да, — благодущничал фотограф, — аккордеон бы сейчас сюда, “На сопках Маньчжурии” врезал бы. И-ех, жисть! А снимки будут — первый сорт, не узнаете свою коровку. Артистка вылитая, ёхтарный мар. Можешь, тётъ Дунь, новую рамку заводить для своей бурехи.

Бабушка стучала посудой, нарезала закуску, кропотала под нос:
— Селёdochка, будто лодочка.

7

*Иван Романыч,
Сыми портки на ночь,
Как день —
Так опять надень.*

Дразнили меня неродным дедушкой. Особенно оскорбляло стыдное слово “портки”. Настоящего, кровного деда Ивана я не знал, бабушка рассказывала, что он умер давно, в голод:

— Всё в дом таскал, то горсть отрубей, то щепоть мякины муку разбавлять. Помню: прибежал с горбушкой. Детки, как мухи на мёд, к столу артелью. Самый маленький Шурка руку под ножик подставил. Я впопыхах — чик и отхватила пальчик вместе с ломтем. Так на шкурке и повис. Всё равно с кровушкой съел сыночек свой кусок. Куда боль пропала... Опухший с голодухи дед Иван отходил неслышно. Два дня на печке грелся, ворочался. Потом сунулся лицом в дымоход и как уснул.

О другом деде, Иване Романовиче, в Верхней Мазе ходили невероятные байки. То какой-нибудь ушлый мужик объявит Ивана Романовича австрийским шпионом:

— В плену был? Был! За-вер-бо-вали!

— Немец, гольный немец, — жестоко поддакивала сварливая тётка Нюра Шилова. — Вы поглядите на его личность: вылитый фриц. Цурюк, цурюк, хенде хох.

Низкого роста кряжистого деда с круглым свекольным лицом с таким же успехом можно было выдавать за жителя чёрной Африки.

Добряки уверяли в том, что дед — герой гражданской, “тока пострадал от этого... как его... культу... вот и завернул в нашу Мазу под бок к Авдотье Бузаевой”.

Не только в Мазе, но и по всей округе знали мастеровитые руки Ивана Романовича Катышева. Он был и плотником, и столяром, и лудильщиком, и бондарем. Редкие оконные наличники не сотворены руками моего второго деда. Разнообразные кружевные узоры придумывал дед Иван: от простейших “бубней”, “червей”, “виной”, до немислимых тончайших выкрутасов. Меня он прочил тоже в столяры. Пока.

— А потом инженером будешь. В белой рубахе с галстуком будешь ходить.

Приучал работать с фуганком:

— Руки свободно держи. Положи ладошки сюда. К себе тянешь — вдыхай, от себя — выдыхай. Как паровоз, тудою-судою, тудою-судою, чух-чух, чух-чух. Струмент уважать надо, беречь.

Бесчисленные рубанки, фуганки, фальцовки, шалевки сделали из простого клена. Щелкнешь по железке ногтем — звон: “тилин-тилин”, тонко так, отчетливо.

Иван Романович кручинился:

— Вот околою, куда струмент уйдёт? Искорёжут его, растачат. Был бы ты плотником-столяром, тебе б отписал. А зачем струмент инженеру?

Бабушке наказ:

— Отправят на мазарки, закопайте вот со мной эту ножовку, вот эту стамеску. А то как же с пустыми руками умирать? Стыдно.

Враз уходил от хмурых разговоров:

— Ну, нам с тобой уторы на бочке зарезать — неколи прохладяться. Ты, Коляка-моляка, внутри залазь, а ты, Авдотья, тоже пособи — бочку держи.

С исключительной точностью прорезал он глубокую борозду, паз для будущего дна. Мы с бабушкой только и нужны были для того, чтобы полюбоваться весёлой работой.

Когда у нас выходили деньги, дед точил веретена. Станок для их производства чем-то напоминал колченогую скамейку с луком. В тетиву впутывалась заготовка для будущего веретена. Я дёргал тугой лозиною, вращал заготовку, дед сноровисто приставлял стамеску, выкрутывая из брусочка липы настоящее чудо. Слонявил карандаш, расписывая веретена всеми цветами радуги.

Поплюет Иван Романович на три пальца, ткнёт тонконогое основание веретена в ладонь, и долго-долго танцует радуга на широченной ручище.

— Поёт и пляшет, отдашь за двадцать копеек.

Ташусь по порядку. После такой радости (как чудесно пахнет жженой веретеной липой) опять канючу у палисадника:

— Поющие веретена... поющие веретена!

Дед Иван тоже, как Графена Черкасова, обожал баньку. Пар и жар приводили его в настроение.

Отфыркиваясь, еле доползал из бани. Могучий, пунцовый, сядет против стола, чай ждёт. Бабушка в чулане на лучинку в конфорке самовара дует, приговаривает в рифму:

— Счас вам чаю накачаю, сахару наколю.

Дед водружает меня на край стола:

— Фу-ты! Взопрел после бани, как после косива, а ну, шельмец, давай подтягивай!

*Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел и силёнку...*

Любимая наша песня.

Бабушка гневно высказывает из своего чуланишки:

— Срамники, охальники, стыдобушка! Великий пост, а они песельничают!

— На-а-чальник даёт мне приказ, — задористо, сочно рокочет разопревший дедовский голос.

Тоненько дребезжит рядом мой озорной колокольчик.

К религии Иван Романович был равнодушен. Помню, распря с бабушкой получилась. Сразу после полёта Гагарина в космос дед нашёл его портрет и прикинул в уголке возле иконы Николая Угодника.

Бабушка шумела, дулась на мужа, грозилась сорвать антихриста. Старик решительно протестовал:

— Это вам кось-мось, а не фиги-миги!

Но завелась в семье червоточина.

К нам зачастила бабушкина сноха. Мне было велено кликать её няня Валя. Однако Иван Романович за глаза прозвал её более точно: Пудовка. Пудовые ноги, руки, груди, пудовое одутловатое лицо имела няня Валя. Она обладала пудовым аппетитом, страстью поспать с храпом и безудержной охотой к сплетням.

Дотопает до нашей избы, жалится:

— Уж я и не отудоблю, наверное. Ой, ноженька, ой, коленочка, пригоршню пилуль выписала мне Манька Власова. Да ну их всех. Не лечат — калечат. Картошечки бы, маманя, пожарить со сливочками.

Сама жарила и наворачивала картошку. Балакирь молока выпивала за раз.

Дед косился, подмигивал мне, шептал в ухо:

— Пудовка наша всё умяла, во-о! Аж за ушами трещит.

Пудовка тем временем благодушничала: в кооперацию нашу конный какой-то жир привезли, конбизир называется. Никакого масла на дух не надо. Ложку жира с гулькин хвост кинул на сковородку, и всё, и анба!

— Абетюшки, — восторгалась бабушка, — ты, чай, Валя, купи со станчик, протведать.

Та обещала и повторно хваталась за могучую коленку:

— Стрелы, стрелы, стрелы! Ник-какой возможности. Полежать пять минут, может, отпустит?

Все пуды свои роняла на хилую бабушкину кровать. Моментально проходили "стрелы". Шабры и те слышали протяжный, со сладостными всхлипами, храп.

Дед в сердцах уходил чистить калду. Бабушка посуду тёрла, тёрла закопченное десятилинейное стекло для керосиновой лампы, сеяла муку для новых пирогов.

Как-то няня Валя проснулась под вечер, поманила к себе бабушку:

— В Мелекесе дом открыли для таких вот, как твой старик, палаты царские, а не дом. Уборная и та из лакированного камня.

— Абетюшки! — всплеснула сухонькими пергаментными ладошками бабушка, — зачем они с лаком?

— Ты кумекай, чё люди добрые калякают. Ивана туда надо поместить, Ивана! Пока возможность есть. Я сама бы в тот дворец попросилась, да не пройду по молодости лет. Всё в палатах тех коленкоровое, к каждому старичку-старушке баба-медичка приставлена для пригляда. Каждый день сладким лимонадом потчуют. Эт вы привыкли к своей калине да тыкве. Бают, что они женятся и расходятся, как молодые.

— Чудеса! Стыд господний! — укоряла Евдокия Ивановна.

Вскорости после этого разговора, как назло, занедужил старый. И Пудовка зачастила к нам. Со всех сторон приширала сноха:

— Дорогая моя, мамочка, ты ведь не молоденькая, за тобой самой, чай, уход нужен. А тут Иван Романович. Кто он тебе? Дивуй бы мужик родной? Не кровь — сукровица. Ведь не расписаны?

— На кой они, бумажки-то, — оправдывалась бабушка, — который год бок о бок, рази не муж?

Однажды дед дёрнул меня за рукав рубашки. Болезнь сделала его плаксивым. Иван Романович долго высмаркивался, самодельным гребешком из коровьего рога причесал щетинистые усы, просипел:

— И ты, Коляка-моляка, хочешь меня на погибель спихнуть?

— Хвораешь ведь? — сжался я от жалости. — Там — уход.

Вспомнил Пудовкины обольщения.

— Пойду, раз так, как наша корова, как Субботка, в заготскот. Ты за струментом гляди, вернусь — наймёмся с тобой в Нижнюю Мазу наличники нарезать к Кутуковым.

По грязно-полосатому, как замоченное в тазике бельё, снегу отвезли деда Ивана в Мелекес.

Перед поездкой он всё возвращался к божнице. Там документы какие-то искал. Раза три вертался. Его корили:

— Гоже там, чего упираешься? Отлежишься, и цурюк, хенде хох, к Авдотье, к Дунярке.

Иногда меня обдавало непрошеной злой радостью: “Некому теперь будет с веретенами посылать”.

Странно, что и верхнемазинские жители обрадовались уезду безродного Ивана Романовича, ведь ничего плохого он не сделал, только превосходные изделия творил: точеные пурпурные солонки, поющие веретена, кружевные наличники, резные коньки на крышу.

— Шиён улепетьвает, — скривилась вслед тётка Шилова.

— Герой — с дырой, — сплонул плюгавый мужичок Рябов.

Через полгода почтариха тётя Нина Меркулова сунула в окно конверт с синей бумажкой. Скончался дед Иван Романович в городе Мелекесе.

А дедов инструмент разошелся по рукам. Верхнемазинские мужики втихомолку приходили к бабушке сумерничать, усаживались на почетный венский стул, стеснительно мяли руки:

— Тётъ Дунь, ты мне коловорот не займёшь на пару дён? Верну, ей бо!..

И не принёс мужик инструмент. Зачем старухе коловорот? Верхнемазинские “безрукие бездельники”, болтуны завладели гладкими, как галоши, и звонкими фуганками, шершебелями, фальцовками. Даже неприкосновенные пилы с клеймом “Лев на стреле” ушли, ушли, ушли...

Я услышал ненароком, как молилась бабушка:

— Во имя Отца и Сына и Святаго духа... отдала Ивана... там и чисто, и кормят гоже, но... прости меня, матушка Владычица, пресвятая Богородица, прости Христа ради.

В углу за язычком лампадки, в жидком свете милостиво улыбались бо-женьки и сиял глянецвый голубоглазый “антихрист” Юрий Гагарин. Они по-ходили на близких родственников.

8

Было это уже без меня. Бабушка ослабла. К ней враскоряку, по-утиному притопала сноха, Пудовка. Долго тяжело отдувалась:

— Занесла тебя нелегкая на Гору, живёшь у чёрта на куличиках, дивуи бы сродников не было.

Поняв, что ругнѣй не проймѣшь, Валентина сменила гнев на милость. Скоромные глаза её стали ещё маслянистее. Заворковала, замурылкала.

— Мягко стелет — жѣтко спать, — про себя костерила её бабушка.

А сноха не унималась:

— Как сыр в масле кататься будешь, айда с нами жить. Все люди вме-сте гужуются, чай, родня-кровинушка одного коленкора.

Бабушка сперва не шла на уговоры своей ветреной сношеньки, чужла подвох, как с дедом Иваном, потом вспомнила студѣную зиму: почти каж-дый год её избу по самую рещицу заносило снегом. Как-то дня четыре сиде-ла заваленная, пока шабры не раскопали.

Ну и поклонилась Евдокия Ивановна четырѣм углам своей горницы, при-ковьяляла к сыну Виктору, к сладкоголосой своей сроднице.

Само собой, сыновье хозяйство перешло в сухонькие бабушкины руки. Она через силу поила-кормила скотину, стирала, стряпала. Вскоре Пудовка объявила по всей Мазе, что “свекровь у неё — золото, а не свекровь, с та-кой мамашей и на работу выходить не страшно”. И устроилась на завод упа-ковывать сливочное масло.

С работы тащилась, стонучи:

— Ой, рѣбрушки, ох, рученьки! Ой-ой-ошеньки, ломит — спасу нет.

Прямо на печном шестке уплетала горшок тушеной картошки, вылизы-вала жирную жижу горбушкой.

Под могучими телесами вскрикивала кровать с новомодной панцирной сеткой, и сорванные с резьбы никелированные шарики на боковушках тон-ко позванивали в лад протяжному храпу. Часа три длился перезвон.

Повеселевшая ото сна Валентина сладко ѣжилась, потягивалась долго и беззастенчиво, тормозила бабушку:

— Ие-хе-хе, Нюрка-то Шилова сѣдни три кила масла упѣрла. Знаю, знаю, кого подкармливает, ухажѣра. Жених называется — пигалица голо-штанная.

Глуховатая бабушка бестолково кивала головой:

— Да, да!

— Во тетеря! — злилась сноха, хлопала дверью, шла по шабрам, наде-ялась там найти благодарных слушателей.

А Евдокия Ивановна припадала к вечернему окошку, сумерничала, ка-раулила ходики, пока до её тугого уха не долетало:

*Живѣт моя шишига
В высоком терему...*

Это возвращался с работы её сын Виктор. Он резко распахивал дверь, пододвигал табуретку к материнскому стульчику и басил:

— Ну, как, не обижают?

Бабушка отмахивалась:

— Боже упаси, обходительная.

Сын размазывал пьяные слѣзы:

— Рази ж я тебя в обиду?! Мамка моя, расхорошенькая! А Валюха — золотая баба, найди такую, глазищи... как полтинники, как рашилем дира-нѣт. Люблю её, зазнобушку!

Хлопал по карманам, будто спички потерял. Как что-то неожиданное, вытягивал из шофѣрских прав трѣшку.

— На, вот... платок себе купи или материалу какого, и-эх, чтоб мне лопнуть... живёт моя шишига-а-а в высоком терему!

И всё-таки бабушка переметнулась к другому сыну, к Шурке, дяде Саше. Дяди Сашина жена, городская, чисто одетая повариха, свою родню приняла более чем радушно. За приезд выпили по рюмочке красного вина, закусили мягкими котлетками.

— Живём, как у Христа за пазухой, посмо-о-трите-ка, — горделиво выводила городская сноха Екатерина Анатольевна, — ванна раздельная с узором. Вода холодная — вода горячая.

Не только лицо, но и голое городское плечико её лоснилось от радости.

— Абетюшки! — бабушка опасливо косилась на фарфоровую белизну унитаза, уважительно покачивала головой.

Справная Екатерина Анатольевна сразу же не позволила свекрови прикасаться к сковородкам да кастрюлям.

— Каши варить — моя забота.

Сын затемно уходил на работу. Он плотничал на стекольном заводе. Екатерина Анатольевна тоже отправлялась туда, в заводскую столовую.

В квартире тишина. Только за окном тренькали трамваи да сипло взвизгивали автомобильные тормоза. Из форточки дурно пахло разогретым асфальтом.

Бабушка ещё раз перемывала чашки-ложки, ворчала под нос:

— Не велит стряпать, брезгует... как там... в Мазе, небось, грибы поспели... маслята... правские в рост пошли, калина уродилась?.. А тётка Муравова, чай, некому ей лыбиться, своими железками сверкать?.. Найдёт, найдёт! Молочка бы теперь мазинского испить или кипяточку с душицей.

День-деньской скучно перезванивалась трамвайная линия. И всё воняло бензином, сухой пылью да асфальтом.

Бабушка мыкалась из комнаты в комнату, всё ей руки мешали. Хлопала дверь. Ещё с порога Екатерина Анатольевна зыркала на драгоценный по тем временам телевизор “Рекорд”:

— Вы, мамаша, видно, и не включали?

— На кой он мне, ваш телевизор?! — отмахивалась старушка. — Напридумывали страсти господни... ещё лопнет, пузырь-то на нём из склянки.

— А я вам покушать из столовки принесла: борщечка, котлетку. За так беру. Котлетка, если её покушать, тридцать одну копейку стоит, да борщ — двугривенный, компотик, то-сё, значит, вы, мамаша, нынче поужинаете почти на рублёвку. За такие денежки мантулить надо ух да ах.

Евдокия Ивановна ела тихо, опасливо, тут же быстрёхонько сметала в ладонь крошки со стола и свою помытую тарелку ставила не в общую посуду, а отдельно в уголок тулила.

В дальней комнатёнке приткнулась её раскладушка. Бабушка шмыгала, чтобы не мешать молодёжи, в тот закуток, приседала на раскладушку и надвязывала весь вечер паголенки к носкам, просто так. Чтобы руки занять.

После каждого такого “незаслуженного” ужина вспоминался Иван Романович. Вот является он со двора, резко пахнет коровьим навозом, сеном, потом. Вот он споро скovyривает галоши с чёсанок и на сундук плюхается. Кулаки, как кувалды, на стол:

— Дунярка, отзовись!

— Чевоёй-то ты раззевался?

— Как ты думаешь, что сейчас в Нижней Мазе делают?

Бабушка возводит глаза к потолочному брусу, жмёт плечами:

— Придумает тоже, в Нижней Мазе...

— Поснедали там!

Собрала на стол: чугунок со щами, кружку топлёного молока с толстой шершавой пенкой. Пирог.

Пористым сизым носом дед долго со свистом обследовал хлебную горбушку, перчил кушанье, подсаживал. Умял всё. Вытер усы, и кувалды — на стол. С нарочитой сердитостью рычит:

— На третье что будет?

— На третье — выголчки, — смело пасует бабушка.

Оба взапуски хохочут.

— Садись, Авдотья, к столу.

Дед копается за божницей, извлекает из уголка пухлый, как стопка блинов, школьный учебник истории. Иван Романович монотонно бубнит про князей Владимира, Святополка, княгиню Ярославну, читает, пока не заметит, что бабушка носом клюет. Сморило.

Каждый раз, дойдя в своих воспоминаниях до дедушкиной книжки, Евдокия Ивановна засыпала. Срабатывала привычка. Снилось ей в сыновнем городе одно и то же: толстый язык коровы Субботки, похожий на пенку топленого молока, завистливая золовка Мария Муравова с железными зубами.

Тянет Мария металлическим голосом:

— Гоже тебе, милочка моя, детки по городам разъехали, небось, полный сундук добра наслади отседава?!

Через неделю Екатерина Анатольевна громким шепотом внушала бессловесному мужу:

— Глазищами мамаша лоп-лоп, как шпион какая. Везде её буркалы. А уплетает, как мужик агромадный. По ночам то и дело в туалет шныряет, не заснёшь прям. Три раза в день — чай. Натуральная принцесса Дурандот, ты с ней поговори, пжалста.

В тот же день бабушка распоролла изнанку плюшевой жакетки, вынула оттуда четыре десятки и укатила к единственной любимой своей дочери Лизавете. К матери моей. Но о ней поподробнее.

Лизавета в девках работала на ферме, потом — прицеппщицей на тракторе. Чуть Богу душу не отдала, попав под острые диски культиватора. Задремала и ткнулась в агрегат, как курица с насеста.

Большеглазая озорница со сбитым телом, она рано вышла замуж за парня, давно просватанного за гармошку. К нему и девки липли, и в любую компанию тащили за мил-дружка. Шутили о Лёньке с любовной пренебрежительностью: “У нашего гармониста через гармонь сопля повисла”.

Лёнька заворовался по пьянке, а потом вконец влип. Лёгкая жизнь в лёгких ботиночках со скрипом привела его в тюрьму. Отсидел три года. Бабушка помнит: вернулся — блат на блате.

— Колеса, — сплевывает через зубы, — прохудились, дай малость рваных на новые прохари.

Жена средства достала, отправила хозяина в район. Всё до копейки спустил Лёнька со старыми корешами. А мать моя, узнав об этом, со зла и обиды наглоталась уксусной эссенции. Еле откачали. Из больницы тёмная, как с креста снятая, женщина отправилась судьбу пытаться в Среднюю Азию. Там сошлась с Петром Орешинным, мужиком основательным. Пётр Иванович не только на стройке вкалывал внахрап, но и дома калымил: шкафы мастерил, шифоньеры клеил, на худой конец табуретки сколачивал.

Денег у Петра — куры не клюют, а к деньгам впридачу — друг, Мишка Скворцов.

Весной дело происходило. Явились товарищи в женское общежитие, винограду в гостинец принесли, две бутылки шипучки. Сели чинно. Решительный Пётр, как обухом:

— Мы, вообще-то, свататься.

— Кто... за кого? — замерла молодая женщина.

— Выбирай любого, кто покажется.

Прыснула для приличия в кулачок: вроде смеется, а глаза засновали, на Петре и споткнулись.

— У меня сынок есть, с мамашей проживает, знаешь ведь?

— Не помеха. Сынок-вьюнок, я ему и подарок подобрал: ножичек, фотоаппарат, будет нашу счастливую жизнь снимать.

Средняя Азия Лизавете не по климату пришлась. Уехали молодые в прихопёрскую станицу. Оттуда шли письма. Шабы читали Лизаветины счастливые послания радостной бабушке:

“Добрый день, дорогая мама! В первых строках своего письма хочу сообщить вам, что живём мы хорошо, того и вам желаем”. В письмах этих больше расспросов. Отелилась ли корова? Посадили ли картошку? По-преж-

нему ли у Галаниных черёмуха кучерявая? Вышла ли замуж Сонька Муравова или ещё в полуторницах ходит? Потом на двух тетрадных листах перечислялись родные и знакомые, те, кому надо передавать приветы. Заклочала письмо всегдашняя фраза: “Ждём ответа, как соловей лета!”

К последней своей надежде, к Лизавете своей золотой, единственной, и направилась Евдокия Ивановна.

Пётр Иванович гостье обрадовался, приветил, две бутылки “Столичной” об стол хлопнул:

— Пейте, господа бабы: гуляй, Ванька, ешь опилки!

И бабушка рюмочку пригубила. Зашумело в голове. Лизавета граненый стаканчик выщедила. Пётр до поздней ночи доканчивал остальное: не пропадать же добру. Переругивался с женой. То и дело тормошил её. Поднимал с кровати:

— Зажрать нечем? Хушь бы картошку разогрела. Дрыхнешь, зараза!

Враз отрезвевшая Евдокия Ивановна за ночь глаз не сомкнула, поняла, что и здесь не мёд.

Утром дочка ткнулась в материнский запон, запричитала:

— Мамонька моя, мне с тобой спокойней, с этим алкашом ведь жутко. Всё есть. Хата, как амбар, большая, машина в гараже... Щастья нету-уу. Мамонька моя! Боюсь я его, порешит спьяну, ой-ой-ошеньки — и развестись нельзя, грозился: “Мне ничего не надо — заживо спалю!” А то орёт истошно: “Вызывай депутата — делиться будем!” В милицию заявила, а он што: отсидит свои пятнадцать, налакается и кулачищами махать. Чешутся. Все нервы вымотал, мамулечка моя, родна-а-ая!

Бабушка осталась у Лизаветы.

Пётр приходил каждый день с работы пьянее вина, в глазах дурь пенится. Если жена задерживалась где на калыме, прямым, злым пальцем тыкал на табурет, зевал бабушке в тугое ухо:

— Сука твоя Лизавета подзаборная!

Сопел, как от тяжёлой работы, топал ногами. Матерился. Бабушка при этом по-черепашьи втягивала голову, прикрывалась своим платком, как листком капусты. Кое-как отбивалась от зятя, выскальзывала на кухню пить сердечные капли.

Однажды едкой беломориной хмельной Пётр кольнул бабушкину плюшевую жакетку. Парадная одежонка занялась. Пётр Иванович рывкнул: “Снять!”

Думала — тушить. А он жакетку — за рукав да и на плиту в пламя.

— Жалко-о-о? — вопил ополоумевший мужчина. — Жалко-о-о! Вот и дочке твоей так будет, старая ты сволочь.

В эту ночь мать моя и бабушка в гараже зубами стучали, приткнулись друг к дружке и молчали до утра. Рано вышли тихонько, опасаются. Протрезвевший Пётр увидел их, бабушке деньги сует:

— Кхм, водка-дура, прости, мама, купи взамен вчерашней, сожженной.

На эту сотню бабушка вернулась в Мазу. Попросила шабра дядю Серёжу Куртасова окна разрешетить, обмахнула влажной тряпкой рамы с фотографиями, протерла полы, прокурила печь, легла на неё и легко забылась.

9

В пятнадцать лет мои сверстники заболели “заразной болезнью” — самолётостроением. Для мастерской Колька Черкасов, Костя Куртасов, я и Мишка Субботин облюбовали пустую заброшенную избу. В этом домике мы каждый день, благо — каникулы, пилили, строгаги и клеили. На крохотном таганке разводили огонь, плавляли тёмные плитки вонючего столярного клея, растворяли казеиновый порошок. Вначале аляповато, а потом уже более искусно, туго и ровно обтягивали рейки тонким пергаментом и папиросной бумагой.

Генеральным конструктором стал, само собой, Мишка Субботин. Он перечитал все авиамодельные книжки Анатолия Маркуши, учился наблюдательности сам и нас испытывал:

— Скажи, уши у коровы где находятся? Спереди рогов или сзади? А!.. Не знаешь?! А сколько ступенек на клубном крыльце?

Мишку уважали. К четвертому классу пацан успел поломать ногу, прыгал с зонтиком с чердака и шмякнулся, умудрился соорудить из старой кровати сетки батут и ухитрился “зайцем” съездить на аэродром в город Сызрань.

В элеронах, шпангоутах, лонжеронах, бипланах и монопланах наш генеральный разбирался примерно так, как наш учитель Иван Павлович Косырев в суффиксах и приставках.

Каждое утро Мишка солидно поплевывал на исцарапанные грязноватые пальцы, разворачивал худую, на складках схему будущего планера и озабоченно молчал. Рабочий день начинался. Трехметровое неустойчивое наше детище уже приобретало птичьи черты. Оно шелестело пергаментными боками, лишь только прихлынет из раскрытого окна лавина плотного воздуха. Итак, дело подходило к концу. Но кто-то взглянул на улицу, кто-то ойкнул, кто-то отложил в сторону стамеску: в нашем курмыше появилась незнакомая взрослая девушка.

Не нашей, не деревенской походкой она приближалась к соседнему дому. Нам здорово приглянулся её клетчатый чемоданчик. Сама девушка не понравилась.

— В брюках, воображала, — заметил Костя Куртасов.

— И рот чересчур велик, — подал голос тонкий ценитель девчат Колька Черкасов.

— Планер лучше! — с инженерной точностью подвел итог генеральный. Я не отставал:

— Вот взлетит, вот удивятся!

Первым изменником в секретном стане оказался, конечно же, Колька Черкасов. На другое утро он не явился в ангар. С равнодушным нахальством, голый по пояс Колька отпасовывал волейбольный мячик незнакомке. Черкас шлепался без нужды в белесую пыль, чтобы показать спортивную прыть, громко хохотал и навязчиво демонстрировал бугры бицепсов.

— Девчатник, — заклеил его Костя Куртасов, и сам на другой день не пришел в мастерскую.

Генеральный конструктор грозно посидел над потерявшей привлекательность схемой, потом небрежно сложил её и, сквозь зубы сплюнув, сказал:

— Фу-ты, ну-ты, лапти гнуты, пошли и мы по мячу постучим. Объявляется отпуск, погодит это крылатое чучело.

Я от нечаянной радости оборвал пилку на лобзике.

В этой иноземной волейболистке мне, в отличие от ребят, нравились и сухощавая подтянутая фигура, и острые черты лица, и особенная привычка часто откидывать назад белую голову. Я-то что, оказывается, и мои товарищи напрочь забыли про самолетостроение. Они наперебой разрисовывали девушке прелести верхнемазинской жизни.

— В сад к Галаниным залезем, у них слепой Потапыч сторожит... Только и может по пустой пудовке палкой дубасить.

— Ты про тыкву ей, про тыкву калякай.

Ольга лишь головой кивала да сияла снисходительно недоверчивой улыбкой. Глаза у неё были цвета густого вишневого варенья. Как бы останавливая гвалт, девушка коснулась тугого атлетического плеча Кольки Черкасова и выпалила:

— А теперь, мальчики, признавайтесь, рассказывайте о тайнах мадридского двора. Что у вас там?

Ольга указала острым подбородком на забытый ангар.

Вперёд выступил Мишка Субботин. Он проглотил слону, хмыкнул и не своим шершавым голосом произнёс:

— Только — ни-ни. Тебе одной из девчат и скажем. Планер там у нас почти готовый. Будем летать по очереди. Затащим аппарат на гору, прицепим к велосипеду и — фю-ить. Только ты — молчок.

Ольгу это признание ничуть не удивило, скорее всего Черкас ещё раньше успел проболтаться.

— А меня возьмёте на запуск, возьмёте, возьмёте? — зачастила Ольга. Мы торжествовали.

— Спасибо, спасибо, спасибо, — тараторила городская девушка, на цыпочках подлетала к каждому и чмокала в изумлённые лица.

— Вот ещё! — сокрушенно, как кляксу в тетради, вытирал место поцелуя Костя Куртасов. — Одно слово — девчата.

Я тоже, конфузясь, тиранул свою пылающую щёку. А потом в течение всей дальнейшей игры в волейбол вспоминал о мимолетном запахе её волос и чувствовал на щеке влажное горячее пятно. Пока играли — ничего, а пришел домой, где-то в желудке или в животе почувствовал щемящую беспокойную пустоту, непонятную неловкость. Не помогла и жареная картошка с бабушкиной рифмованной присказкой. Это был другой, неизвестный голод.

— Наверное, влюблен, — решил я и битый час разглядывал в зеркале свою личность: левую щеку, выгоревшие кулиги волос, тонкую шею в гусиных крапинках. Ужасно себе не понравился.

Утром вся наша команда снарядилась в большой далёкий лес Отмалы. Кроме Ольги Варламовой и нас четверых, прицепился восьмиклассник, большой взрослый Женька Бурханов. У Ольги всю дорогу — расспросы. Как, да что, да откуда?

Мишка Субботин угодничал, расцвел так, что его прическа из ершистого венника превратилась в рыжую корону. На опушке Отмалов тёмными крутыми волнами зеленели кусты орешника. Коронованный конструктор с интонацией учительницы биологии изрекал:

— Говорят, кто ореховый цвет увидит, несчастным на всю жизнь останется.

Стоило забрести в чащу, как начался рыцарский турнир. Колька Черкасов, будто Маугли, заскочил на гибкую вершину сосны и раскачивался на ней. Костя Куртасов принёс из оврага пригоршню раздавленной малины и протянул алое месиво нашей Оле. Долговязый Бурханов показывал ей место, где растут дикие огурцы. На всё и на всех девушка глядела счастливыми вишнями. Ребятам от этого было, наверное, хорошо.

Хуже всех в остроумной компании был я. Я ничего не показывал, не предлагал и никуда не лез. Я скороспело глупел, всё больше и больше ощущая свою никчемность. Глупел, мрачнел и отставал от товарищей.

Верно, это и выделило мою постную физиономию в пучине повального ликования. А Ольга Варламова выскользнула из-под опеки четырех резвых мушкетеров, с серьезным лицом подцепила меня под руку:

— Фу-ухх ты, надоело. Давай пройдемся в тишине? Друзья у тебя слишком весёлые.

От неожиданности я даже оглох. Кровь, что ли, прильнула к ушам? И голова моя выросла до размеров тыквенного пугала. То вчерашнее чувство щемящей пустоты стало ещё больше, всюю завладело моим телом. Я со смертельным счастливым ужасом падал, проваливался в воздушную яму из солнечного запаха её волос, трепетную жгучесть её пальцев на моём локте, вишнёвую ледяную бездну. Наверное, рыбы под водой так видят и слышат земную жизнь.

Ольга смеялась, щебетала, задумчиво кивала головой, опять звонко радовалась. В моей тыквенной башке бессвязно мельтешило:

— Ответь, балбес... Ведь уйдёт... счастье!.. Переметнется!

Но всё молчал тупо, бездарно, испуганно.

И Ольга уплыла. Озорная ватага восала её легкомысленную улыбку. Смуглые девичьи пальцы с ядовито-красным маникюром впились в нелепый локоть Женьки Бурханова. Они тут же приотстали, а вскоре и потерялись.

— Целуются, должно быть, — холодно скривился Колька Черкасов.

— Чё же ещё?! — с нарочитым равнодушием мотнул шевелюрой генеральный конструктор.

Стало скучно, на листьях орешника я заметил пыль.

Но вернулась, вернулась взрослая парочка. Ольга веселилась пуще прежнего. Через силу мы воспряли духом, похохатывали, потешались друг над другом, сыпали анекдотами.

Но что напомнило яркое девичье лицо? Ах, да, вспомнил, — чайник, который я видел у зажиточных Игнатьевых. Большой, чуть надтреснутый фарфоровый сосуд: тонкая изящная ручка, извилистый носик, мелкие китайские цветы.

Как заливалась эта враз потерявшая прелесть физиономия, эта ходульная фигура в срамных немезинских штанах!

Утром я приплёлся в неудобную мастерскую. У пергаментного фюзеляжа тяжело сопел генеральный конструктор Мишка Субботин. Он обрывал скрипучую дорогую бумагу и перепиливал рейки.

— Ничегошеньки не получается, — зло дышал Мишка, — крестики-нолики — детская игра. Нагрузку я неправильно рассчитал. Не по правилам аэродинамики. Так... вот так... Так...

Мишка всё оскабливал и оскабливал наше детище, словно спелый кукурузный початок.

Потом в ангар влетел Колька Черкасов. Колька обхватил конструктора за талию и начал, как дедка за репку, отгаскивать его от планера:

— Знаем мы твой расчет... “Я встретил девушку, в глазах любовь...”

— Новый, почище этого, смастерим, — позорно и тихо всхлипнул растрепанный Мишка.

Хрустящие клочки обшивки вылетали в распахнутую настежь дверь. Ветер гнал их по чумазой улице, по Карпатам. Одни пергаментные лоскуты взмывали в небо, другие застревали в дремучих зарослях зрелого татарника.